2204
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ
г. Москва
15 ИЮЛ 1983

«Я К ВАМ ПРИДУ...»

Каким сегодня видится нам Маяковский

НАЧИНАЮЩИЙ поэт, пылая праведным гневом, искал моего сочувствия: «Подумайте только, они соглашаются напечатать мою подборку при условии, если я дам стихотворение на гражданскую тему!». Я представила вдруг, что подобное предложение делают... Маяковскому. И невольно рассмеялась. Молодой автор, оскорбленно взглянув на меня, ушел. Очевидно, испить водицы из Леты... А я осталась со своими раздумьями о Маяковском, которыми и хотела бы сегодня поделиться с читателями.

Но сначала — еще одно личное воспоминание.

Я хорошо знала художницу Евгению Александровну Ланг, человека большого таланта и незаурядной судьбы. Бывая в ее квартире, я каждый раз невольно задерживалась взглядом на необычном портрете Маяковского ее кисти. (Очевидно, авторское повторение портрета, хранящегося в мемориальном фонде Государственного музея В. В. Маяковского).

Во всем облике Маяковского, увиденного глазами художницы, — ощущение духовной высоты и одновременно — какой-то удивительно чистой, юношеской незащищенности. Удлиненная шея, взгляд, пытливый и печальный, направленный прямо в душу смотрящему на портрет... «Маяковский здесь такой неожиданный, непривычный!» — сказала я как-то Евгении Александровне. «Он такой и был», — ответила художница. А она имела основание судить о нем: ведь Е. А. Ланг познакомилась с Маяковским, когда оба они были еще гимназистами.

И вот частенько бывало так: я, направляясь в гости к Евгении Александровне, проезжала мимо бронзового Маяковского на площади его имени — и встречалась потом с ним, совсем не бронзовым, вечно молодым, бесконечно грустным и нежным... И оба изображения были правдивы, более того: для меня одно уже как бы и не могло существовать без другого. В неразделимости великого трибуна и нежнейшего лирика и заключается тайна непреходящего, все длящегося воздействия Маяковского на судьбы нашей многонациональной советской поэзии, на миллионы его читателей — и на каждого из нас.

ОБЫКНОВЕННАЯ жизнь необыкновенного человека всегда похожа чем-то на сказку. По крайней мере так мы ее невольно воспринимаем. Судите сами, каков размах, если вам так просто сообщают, например: «Еду вокруг земли». Или: «Сделал тысячи три плакатов и шесть тысяч подписей». Еще внушительная цифра: «Собрал 20000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам)». Впечатляет, не правда ли?

Шестнадцатилетний подросток говорит своему товарищу по партии: «Хочу делать социалистическое искусство». Тот, разумеется, в ответ смеется. И напрасно!

Маяковский был из породы **осуществляющих.** Особенностью его натуры была страстная, неутомимая жажда немедленного действия. Он не мог просто мечтать — расплывчато и абстрактно. Скажем, только-только начинающий читать мальчик Володя Маяковский волею судеб и обстоятельств вслед за какой-то «Птичницей Агафьей» прочитал «Дон-Кихота». И что же он предпринимает, прочитав этот бессмертный роман об испанском благородном гидальго? «Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее». Затем что делает, спустя годы, юноша — поэт Маяковский, взяв в руки перо? Да то же самое по сути: разит окружающее!

Причем сражаться юноше Маяковскому пришлось отнюдь не с ветряными мельницами. Жестокий, уродливый собственнический мир, в котором царствует Его Величество Чистоган — такова была капиталистическая Россия предреволюционной поры. В этом «королевстве кривых зеркал», где все было продано и предано, поэт чувствовал себя трагически одиноким:

Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Печаль, впрочем, тоже может быть разной: для поэта небольшого масштаба — это розовый цветок, покорно вянущий, для поэта-трибуна — это знамя без ветра, **пока что** бездвижное, но страстно ждущее бури... Маяковский продолжал и в ту пору неутомимо «разить окружающее» — вслушайтесь, какой неукротимый социальный пафос звучит хотя бы в этих четырех «криках»: «Долой **вашу** любовь», «долой **ваше** искусство», «долой **ваш** строй», «долой **вашу** религию»! Таков объективный смысл поэм «Облако в штанах», «Война и мир», трагедии «Владимир Маяковский», всей его дореволюционной лирики... Маяковский не вмещался в окружающее, он отрицал его каждым словом, каждым взглядом, каждым движением. В стихотворении «Маяковский в 1913 году» Анна Ахматова дает очень выразительный и точный портрет Маяковского той поры:

Все, чего касался ты,
казалось
Не таким, как было
до тех пор,
То, что разрушал ты, —
разрушалось,
В каждом слове бился
приговор.

Какой же исход виделся из всего этого? В **такой** действительности Маяковскому оставалось одно: пафос отрицания. Есть натуры, которые вполне могут удовольствоваться этой грозной и упоительной страстью — разрушать. Но Маяковский был рожден для утверждения! На руинах он должен был возвести новый мир, прекрасный.

Вот почему, когда грянул Великий Октябрь, для Маяковского не было вопроса: принимать или не принимать? **«Моя революция».**

Грандиозность осуществленного Владимиром Маяковским во время и после революции способна ошеломить самое пылкое воображение. Одна его работа в «Окнах РОСТА» — подвиг. А ведь это — только часть сделанного...

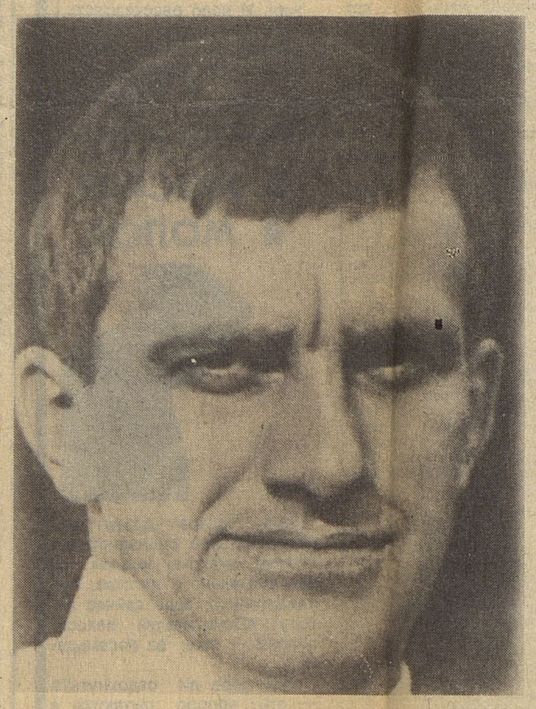
Вот когда в полной мере смог осуществить поэт свое дерзкое юношеское желание: «Я хочу делать социалистическое искусство». Причем поначалу — вопреки обстоятельствам, вот запись 1918 года: «РСФСР — не до искусства. А мне именно до него». И за всем созданным в полный рост встает неприукрашенная и внушительная фигура «агитатора, горлана, главаря».

СЕЙЧАС иной литератор жалуется, что штабная работа «мешает» ему творить. А Маяковскому, добровольно взвалившему на свои плечи столько нагрузок и перегрузок, ничто не помешало создать, кроме бесчисленного количества замечательных лирических стихотворений, еще и такие поистине эпохальные вещи, как поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо». О последней не скажешь точнее и образнее, чем А. В. Луначарский: «Это — Октябрьская революция, отлитая в бронзу». Поистине великий поэт Революции имел право сказать, заглядывая в грядущее:

Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо, зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.

«Парадом развернув» своих «страниц войска», Владимир Маяковский и ныне проходит «по строчечному фронту» нашей поэзии, чьи очертания он во многом определил и предугадал. Без Маяковского мы не мыслим будущего, помня его обещание-клятву: «Я к вам приду в коммунистическое далеко».

Светлана СОЛОЖЕНКИНА.



Борис ЕФИМОВ, народный художник СССР

СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ПЕРЕБИРАЯ в памяти встречи с Владимиром Маяковским, я неожиданно для самого себя обнаруживаю, что встреч этих было очень много. Всех, пожалуй, не перечислишь, обо всех не расскажешь, тем более что немало из них были мимолетными, случайными, ничем не примечательными — на улице, в редакции, на каком-нибудь собрании:

— Здрасьте, Владимир Владимирович!
— Здорово.

Вот и все. Казалось бы, что особенного в том, что встретил и поздоровался с Маяковским? Обычная в ту пору вещь. Но сегодня я вижу и понимаю, что в нас уже тогда, может быть, и подсознательно, жило ощущение значительности и неповторимости каждого, пусть самого коротенького общения с этим человеком.

КОНЕЧНО, знакомство со стихами Маяковского произошло значительно раньше этих встреч с самим поэтом. Его поэзия потрясла воображение моего поколения уже первыми своими опытами. Острыми гротескными образами и необычной ритмикой обратили на себя внимание самые ранние его сатирические стихотворения, напечатанные в предреволюционном «Сатириконе». А в 1918 году, в городе моей юности Киеве, отрезанном штыками германских оккупантов от Советской России, ходит по рукам прилетевшая с севера, преодолев на крыльях поэзии фронтовую «демаркационную линию», поэма Маяковского «Облако в штанах». Мы не уставали повторять и скандировать чеканные строки: «Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет семнадцатый год...». (Как известно, у Маяковского было — «шестнадцатый год», но читательская масса стихийно внесла поправку...).

Впервые воочию я увидел Маяковского в редакции «Известий» в 1922 году.

Помню, как мы, известинцы, сбегались в кабинет редактора газеты И. И. Скворцова-Степанова, заметив, что туда, открыв дверь редакции размашистым ударом ладони (он не любил браться за дверные ручки), направляется Маяковский. Надо к слову сказать, чтение Маяковским своих стихов производило ни с чем не сравнимое впечатление. Мощный красивый голос, чеканная выразительная дикция, широкий пластичный жест, ритмичные движения атлетической и вместе с тем изящной фигуры — все это захватывало и завораживало слушателя, властно вовлекая в бурный поток поэзии Маяковского.

Но, бывало, что Скворцов-Степанов, тоже «не принадлежавший к поклонникам» новаторских ритмов и рифм поэзии Маяковского, терпеливо выслушав поэта, брал новое стихотворение в руки и вооружался очками.

— Я, извините, плоховато беру на слух, — говорил он с лукавой искоркой в глазах, — поэзию необходимо проверить глазами, особенно вашу, уважаемый Владимир Владимирович!

Маяковский не выказывал при этом ни малейшего неудовольствия или обиды. Выслушав замечания редактора, он, как правило, покладисто принимал их к сведению, и, усевшись за свободный стол в секретариате, переделывал отдельные слова и строчки. При этом он еще успевал отпускать шутливо-колючие реплики по адресу вертевшихся вокруг сотрудников газеты (ведь кому не было интересно пообщаться с Маяковским). Не раз доставалось при этом и мне... Трудно было состязаться с ним в остроумии и находчивости.

В «Известиях» Маяковский печатался в течение нескольких лет. Как он сам пишет:

Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
Потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий» и в «Известия».

Самое активное участие принимал Маяковский и в сатирических журналах «Крокодил» и позже «Чудак», редактором которого был друг его Михаил Кольцов. Помню, поэт на редакционных «темных» (от слова «тема») совещаниях вместе с «крокодильцами» или «чудаковцами» придумывал острые темы для карикатур и фельетонов, изобретал новые оригинальные разделы и рубрики и т. п.

Может быть, именно с этими трудностями сатирического цеха связаны строки из записной книжки Маяковского (начало или фрагмент незаконченного шутливого стихотворения):

Две щеки рыданьем вымыв,
Весь в слезах Борис Ефимов,
Разгрустившийся Кольцов
Трет кулачиком лицо.
Напролет ничком в диван
От бессонной ночи бледный
Исстрадавшийся Демьян
Плачет грустный, плачет бедный.
Изо всей гигантской мочи
Маяковский сыплет плачи,
И насквозь слезой промочен
Фельетон, который начат.

ПРОХОДЯТ в памяти отдельные «кадры» встреч с поэтом.

Вот усыпанный звонким гравием внутренний дворик советского полпредства в Париже. Я вижу Маяковского перед фотографом. Этот снимок хорошо известен: Маяковский в серой кепке и коротком полупальто с меховым воротником. Руки засунуты в боковые карманы, ноги стоят твердо, устойчиво. Не меняя положения перед объективом, он окликает меня со своей характерной приветливо-повелительной интонацией:

— Е-фи-мов!

Я подошел.

— Встретимся вечером в «Ротонде».

Я был безмерно рад этому предложению и предвкушал, какой интересной и памятной будет эта (к сожалению, не состоявшаяся) прогулка вместе с Маяковским по вечернему Парижу...

А вот переполненный до отказа Колонный зал Дома союзов. Сегодня здесь вечер поэзии для молодежи. Однако начало бесконечно задерживается, т. к. группа известных молодых поэтов заявила, что «принципиально» не станет выступать рядом с поэтом-лефовцем Кирсановым. После долгих пререканий Кирсанов все же вышел на огромную эстраду, на которой совершенно потерялась его маленькая фигурка с взъерошенным петушиным хохолком. Но попытки его начать чтение пресекались настойчивым свистом из зала. Так прошла минута, две, пять. Поэт угрюмо стоял на эстраде, свист не прекращался.

И вдруг все стихло: из-за кулис показалась огромная фигура Маяковского. Он нес стул. Медленно и деловито шагая, Маяковский подошел к Кирсанову, поставил возле него стул и, бережно положив руки на плечи поэта, усадил его. После так же неторопливо и спокойно удалился за кулисы.

Секундная пауза и... взрыв аплодисментов. Красноречивый жест Маяковского, как по волшебству, переломил настроение аудитории. Кирсанов поднимается со стула и начинает читать стихи. Два-три неуверенных свистка покрываются дружным ревом всего зала:

— Не мешайте! Безобразие! Удалить хулиганов!

Маленького «лефовца» теперь слушают доброжелательно, он с подъемом читает еще и еще...

Не могу не вспомнить Маяковского на открытии его выставки «20 лет работы» в феврале 1930 года. Из песни, как известно, слова не выкинешь. И приходится, к сожалению, сказать о весьма огорчительных обстоятельствах, связанных с демонстративным равнодушием некоторых «собратьев по перу» к творческому отчету поэта. Некоторые из них даже не постеснялись усмотреть в желании Маяковского показать свой двадцатилетний труд поэта и гражданина некую «саморекламу», нескромность и т. п.

Помню, как Маяковский сидел на крошечной клубной сцене один, положив руки на спинки пустых стульев, мрачный, напряженный и как-будто чего-то ждал. Скоро стало ясно, что от писательских организаций никто не пришел приветствовать и поздравить поэта. Маяковский встал, подошел к кафедре и произнес короткую речь. Мне запомнились примерно такие слова:

— Ну что ж, «бороды» не пришли — обойдемся без них. Я даже рад, что здесь нет этих поэтов-первачей и разных проплеванных эстетов.

Тут один из молодых ребят, стоящих у стены (маленький зал был битком набит комсомольцами, студентами, рабфаковцами), закричал:

— Владимир Владимирович! Наплевать, что «бороды» не пришли! Вы наш поэт, поэт молодежи, и мы вас очень любим!

Маяковский обернулся к парню, несколько секунд внимательно на него смотрел, потом, чуть-чуть улыбнувшись одними губами, кивнул.

— Я думаю, — сказал он, — незачем нам сейчас говорить разные красивые слова, давайте я просто прочту вам вступление к моей новой поэме. Название — «Во весь голос». Извините, если буду заглядывать в свои записи, — прибавил он, вынул из кармана маленькую записную книжку, раскрыл ее и, не заглядывая в ее странички, начал:

— Уважаемые товарищи потомки!

Затаив дыхание, со стесненным сердцем, целиком во власти этой могучей поэтической силы, впервые слушали мы вдохновенные, словно отлитые из звенящего металла стихи, знакомые теперь каждому грамотному человеку.

Мы долго и бурно аплодировали, хотя Маяковский, закончив чтение, сразу удалился.

Стихи произвели огромное впечатление, но вряд ли кому-либо из нас могло прийти в голову, что мы только что слышали последнее произведение Маяковского, творческое и гражданское завещание великого поэта.

Выпуск посвящен 90-летию со дня рождения Владимира Маяковского

Георгий СВИРИДОВ:

«ВОСПЕТЬ РЕВОЛЮЦИЮ»

ВО ВЕСЬ голос зазвучала поэзия великого поэта, певца советской эпохи Владимира Маяковского в «Патетической оратории» Георгия Свиридова, удостоенной Ленинской премии.

Возвращаясь к счастливым дням первого триумфального исполнения, композитор, выступая по московскому радио, сказал: «Я никогда не ставил себе специальной задачи — написать на слова Маяковского. Приходилось иногда слышать или читать, что Маяковский — поэт немузыкальный. Но я подходил к Маяковскому не как к поэту, с точки зрения его стилистики или манеры. Я пришел к Маяковскому потому, что хотел написать о революции. Эта тема необъятная, тема, на которую много писали. И это столь грандиозное событие всенародной истории, что художники без конца будут к нему возвращаться. Маяковский написал об этом с колоссальной патетикой, почему я и назвал свою ораторию «Патетической». Я старался написать не только о революции как о конкретном событии, но попытался отразить смысл и дух революционной эпохи.

В моей оратории есть лирические герои. Это совсем не Маяковский и не я, это — лирический герой, поэт революции. Тут и Маяковский, тут и другие. Это не биографическое произведение. Я не старался изобразить Маяковского или его характер. Здесь именно поэт революции. И для людей революции Ленин — это олицетворение совести, олицетворение истины, олицетворение правды. Поэтому «Разговор с товарищем Лениным» — это разговор человека с самим собой, со своей совестью».

Солист Большого театра Александр Ведерников, первый исполнитель «Патетической оратории», вспоминает: «Исполняя ее сотни раз — в концертных залах Советского Союза, в заводских цехах, на стадионах или в цирках, в древнегреческом Парфеноне, в лондонском «Фестивал-холле» и других зарубежных концертных залах, я каждый раз волновался, как впервые, и слушатели неизменно отвечали энтузиазмом и восторженным приемом. Мало я знаю музыкальных произведений, которые бы так воздействовали на публику!.. В 1972 году в большом концертном зале Лондона во время исполнения финала «Патетической» публика встала. В газетах впоследствии писали, что с тех пор, как звучали оратории Генделя, англичане столь же мощной музыки не помнят».

Композитор Дмитрий Кабалевский считает, что «с этим произведением поэзия Маяковского вошла, наконец, в мир музыки... Оно обогатило музыку и одновременно расширило наше представление о поэзии Маяковского».

Вадим КИСЕЛЕВ.

ОТКРЫТКА ПОЭТА

В ИЮНЕ сорок пятого я шла пешком по Ленинграду, от Московского вокзала домой, на Петроградскую сторону; на Марсовом поле — следы огородов, а на Кировском — зияющие окна знакомых домов...

А вечером в комнате, где все разбито, развалено и только в углу — лыжи, навеки оставшиеся без хозяина, я нахожу папку. Я вытираю пыль с прошлой жизни, перебираю пожухлые листки писем, раскладываю на столе покоробившиеся от слезной сырости улыбки друзей. И вдруг — плотный желтоватый конверт на коричневой подкладке, а в нем — открытка, завернутая в вощеную бумагу, та самая открытка от Маяковского, из Берлина, написанная перед отъездом в Париж: «Эх, Рита, Рита, учили вы меня немецкому, а мне теперь по-французски разговаривать». И подпись: Шюлер.

Я машинально переворачиваю открытку — совсем не помнила, что там на ней. А на ней — Бранденбургские ворота, еще непривычно целые, самодовольные в своей нетронутости, но все же те самые ворота, которые навсегда стали символом нашей победы. И мне кажется, что Маяковский второй раз прислал мне эту открытку.

И напомнил о себе, обо всех, кто был с ним рядом...

ГЛАВНЫЕ, в моем представлении, «черты всех периодов прожитой мною жизни» неразрывно связаны с молодыми, кипящими ключом годами, когда все мы опрометью неслись к той новизне небывалых открытий в искусстве, которыми до сих пор питается весь мир.

Вся эта жизнь для меня не просто переплелась, но прочно, органически срослась с сотнями встреч, взглядов, разговоров, книг, прогулок по улицам и лесным просекам, приездов и отъездов, обедов и вечеров в Водопьяном и Гендриковом, писем, телеграмм и записей. Память, как известно, странная штука, и в ней иногда застревают черепки и осколки слов и событий самой разной величины, самой разной ценности... И оттого, я думаю, каждая мелочь тех дней, каждое, пусть самое пустячное слово, связанное, например, с Маяковским, будет подарком для тех, кто его любит.

Хотелось бы, чтобы все поняли, как жили тогда, как дружили, как радовались и огорчались, какой чистой и настоящей была вся жизнь Маяковского и тех людей, чьи имена навсегда будут связаны с ним, с его стихами.

И если написать про все, что «в сердце было в моем», про все, от чего билось и ширилось сердце, то в таких записях обязательно отразится, как солнце в капле воды, и все, «что было с бойцами или страной»...

МАЯКОВСКИЙ часто, приходя к обеду в Водопьяный переулок, приносил и читал что-нибудь совсем новое, особо интересное. Так он прочел «Правонарушителей» Сейфуллиной, которые ему как будто дали в Госиздате, так принес напечатанный потом в «Лефе» рассказ Бабеля «Соль», так читал «Гренаду» Светлова, полученную в «Комсомольской правде».

Но стихи Хлебникова он прочел с особенным удовольствием, два раза подряд:

«Эй, молодчики-купчики!
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве...»

— Сейчас отнесу в «Известия»! — сказал Маяковский. — Завтра же напечатают!

И на следующий день принес три номера «Известий», где на видном месте были напечатаны лучшие стихи о НЭПе, какие я знаю, — стихи Велимира Хлебникова.

Маяковский любил Хлебникова. Он и Брик написали о нем лучше всех. Сам Маяковский и писал и думал иначе, чем Хлебников, но неизменно говорил о нем как о гениальном поэте, великом языкотворце.

...Как ни странно, понять непривычное в искусстве мне помог один, казалось бы, незначительный случай. Выставка конструктивистов: Родченко, Степанова, Попова, Лавинский — их я знала лично, потому и называю эти имена, но, вероятно, там участвовали и другие, может быть, даже сам Татлин. Народу мало, по залу ходит Маяковский. Вечер. Мы вваливаемся гурьбой, в том беспричинном веселье, которое нас почти никогда не покидало. Я снимаю пальто. Рядом — перекрещенные металлические палки, на них — вбок — треугольник, какие-то полукруги. Мое пальто с чьей-то помощью повисает на вытянутой стреле этого скульптурного сооружения.

Мы довольны: искусство оказалось «полезным» — кажется, так и надо. Но тут на нас надвигается Маяковский и говорит, нахмурясь, очень строго, но вполголоса, чтобы не привлечь внимания стоящего поодаль автора скульптуры: «Сейчас же снимите! Безобразие! Неужели не понимаете...»

Но, увидя, что мы действительно ничего не понимаем, объясняет, уже смягченный нашим смущением, как художник в своей работе хотел показать новые взаимоотношения и формы, каких еще не было, а главное, хотел научить видеть вещи по-новому: сейчас непривычно, а в будущем может помочь новой конструкции вещей — мостов, зданий, машин.

Может быть, Маяковский нарочно, для нас, так упростил свои мысли о поисках новых соотношений в отвлеченных скульптурах конструктивистов. Наверное, об этом подробнее и «научнее» рассказано в каких-нибудь статьях и книгах. Но для меня в этот вечер как-то раскрылся смысл условного искусства, и я другими глазами посмотрела на многое.

Не хочется уходить в дебри тогдашних и теперешних споров, но в гигантской стреле шагающего экскаватора я вдруг вижу ту металлическую стрелу конструктивистской скульптуры на которой тогда повисло мое пальто.

СОСТОЯНИЕ счастливой влюбленности в мир, в котором я жила тогда, охватывало все: стихи, людей, снег, весеннюю оттепель. Жизнь была битком набита впечатлениями, встречами, спорами, своими и чужими романами...

Не понимаю, как я ухитрялась заниматься в университете, бегать по вечерам в студию ЛИТО, а позже — в Брюсовский институт, ходить на все премьеры, на все выставки.

Впрочем, в таком кипении жили мы все — те, кто верил и надеялся. А тут еще после первой московской зимы наступила весна 1921 года, и Маяковский заставил меня бросить все и переводить для III конгресса Коминтерна «Мистерию-буфф» на немецкий. Ну, как тут было не верить в мировую революцию, когда к нам со всех концов земли уже съезжаются представители тех, кто ее делает, а мы для них собираемся ставить Маяковского?

Жизнь перевернулась вверх дном, репетиции начинались поздно ночью, когда освобождались актеры — из всех театров пришли играть в немецкой «Мистерии» те, кто знал язык. Ставил спектакль Грановский, художники — Натан Альтман и Ефим Равдель, музыка — Сахновского...

Прошла премьера «Мистерии». В дневнике — запись от 1 июля: «Сейчас я должна уехать — и жаль. Не кого-нибудь, а всех — Москву милую...» И приписка: «Маяковский просит не уезжать, очень его люблю, но уеду... «Мистерия», может быть, уедет за границу».

«Мистерия» — единственный экземпляр на немецком языке — действительно уехала за границу, но позже Лили Юрьевна и Маяковский отвезли ее в Берлин, где показали немецким поэтам. Те очень правильно сказали, что перевод выполнил свое назначение, но издавать его не стоит: это — Schuhldeutsch — школьный язык, но как подстрочник он очень полезен...

Я помню и буду помнить до смерти, как все это было — тогда.

Помнить и радоваться...

Время постепенно сметает и развеивает все наносное, мелкое и ненужное. Главное: стихи поэта — в Бессмертии.

Рита РАЙТ.

Карло КАЛАДЗЕ

Разговор с Маяковским

Чем тебя удивить
при твоем гулливеровом росте?
Что поэты у нас
в ореоле — ты знаешь и сам...
И узнаешь собрата,
сородич, пришедший к нам в гости,
По большой шевелюре,
по шумным моим волосам.
Видишь, Грузия строится!
Радостных зодчих десницы
Обновили ее,
и труду покорилась Кура,
И зажглись в нашем небе
грядущих свершений зарницы,
И поля пробудились,
и жатвы настала пора...
Я тебе незнаком...
Но припомни лесистый Багдади,
По полям кукурузным
ты в детстве бродил босиком...
Ты ведь здесь — не чужой,
так скажи мне сейчас, бога ради,
Что-нибудь по-грузински
и кончи грузинским стихом.
И, расширив глаза,
мы увидим, как в яростной схватке
С огнепламенным сердцем
и собственной песней своей
Ты возвысишь свой голос,
который услышат десятки
Миллионов людей
на просторах российских полей.
Вся земля — на ладони
с клочками своих океанов...
В напряжении
мышцы, и каждый твой бицепс свинцов.
И не раз ты сразишься,
и первых побьешь палаванов*.
И на обе лопатки
положишь сильнейших борцов.
Дорогие собратья,
да кто, кроме нас, в том виновен,
Если слава покуда
не очень-то жалует нас!..
Будут голос и шаг
и у нас обязательно вровень
С голосами и поступью
зодчеством занятых масс!
Нам ли, зодчим времен незабвенных,
к лицу суесловье?
Созидать вдохновенье
мы призваны, чтобы воспеть
Прозу преображенья,
высокое жизни здоровье
В строчках необычайных
и гулких, как бронза и медь.
Сердце пусть остановится,
если в дурмане потемок
Соловьем оно плачет
над выцветшей розой навзрыд.
Если в этой беседе
мой голос и нежен, и громок,
А на поле сражения
ржавым молчаньем покрыт,
Если вновь не зажгу
испытавшего стыд пораженья,
Если не поверну
отступившего воина вспять, —
Красноречье напрасно,
не надо уже продолженья
Лучшей песни моей
и уместней тогда замолчать.
Мы стоим под чинарой.
Над сквером — задумчивый вечер
Тихо льет на деревья
свой красный торжественный свет.
И со мной — Маяковский,
могучий, широкоплечий,
Сильный духом строитель
и радостный сердцем поэт.

Перевод с грузинского Михаила СИНЕЛЬНИКОВА.

* Палаваны — силачи.

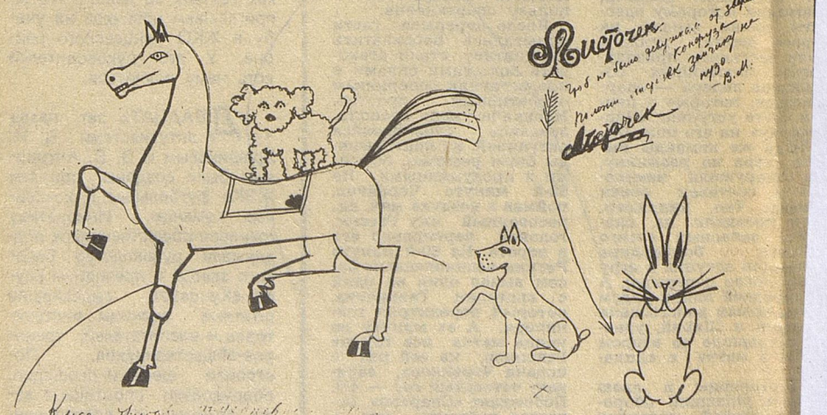


Рисунок В. В. Маяковского из архива В. В. Катаняна.